



# КИСТОРИИ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО ОБЩЕСТВА

*A. M. Петров*

## Из далекого прошлого

(Воспоминания о Кирилло-Мефодиевском обществе)

Предисловие и примечания *С. Шегловой*. Заметка к «Воспоминаниям»  
*М. Успенского*

История Кирилло-Мефодиевского общества до сих пор не написана, хотя материалов для этого опубликовано, особенно после революции, довольно много. Этот материал относится отчасти к следствию по делу кирилло-мефодиевцев, отчасти излагает теоретические воззрения братчиков, высказанные в их произведениях. Кроме такого материала, более или менее официального характера, несомненный интерес представляют материалы и более интимные, как переписка и воспоминания, в которых авторы высказываются обычно более откровенно. Что касается воспоминаний о Кирилло-Мефодиевском братстве, то таковые, как известно, написаны Костомаровым и Кулишом. Но, кроме этих уже опубликованных материалов, в рукописи сохранились еще и воспоминания А. М. Петрова, который во всей имеющейся литературе об обществе признается доносчиком. Это мнение основывается, несомненно, на документах, относящихся к следствию по делу Кирилло-Мефодиевского братства, отчасти опубликованных М. С. Грушевским (см. Эбірник пам'яті Тараса Шевченка. Видання Українського Наук. Тов. в Київі, 1915, стр. 99—256). Доносчиком же называет Петрова и жандарм Орлов в своем докладе Николаю I, где читаем: «Открытие славянского или, правильно сказать, украинско-славянского общества, началось от студента Киевского университета Алексея Петрова» («Русский архив» 1892, кн. 2, стр. 335).

Что касается самого Петрова, то он стремился обелить себя и сбросить позорное имя доносчика. Много лет спустя после ареста, уже в конце жизни, впервые, по его словам, встретив в печати такое название, примененное к нему самому, он решил опровергнуть в печати же это обвинение и оправдать себя перед потомством. Результатом этого желания и явились публикуемые ниже его воспоминания.

Как читатель увидит, воспоминания Петрова существенно расходятся с следственными материалами. В то время как в своих воспоминаниях

он, например, утверждает, что «ни о ком из названных лиц свидетельствовать не мог, так как, за исключением Гулака, никого из них не знал», а в другом месте еще определенней говорит, что «в моем показании, кроме фамилии Гулака, не фигурировала ничья другая, да и не могла фигурировать, так как я никого и не знал из членов общества», в следственном материале мы находим совершенно точное указание на то, что Петров назвал и дал сведения, кроме Гулака, и о Навроцком, и о Маркевиче, и о Костомарове. Помимо этого весьма существенного обстоятельства, рисующего Петрова, как предателя и доносчика, есть и еще неточность в записках Петрова. Именно в записках он не говорит, что был членом общества Кирилла и Мефодия, как бы скрывая это весьма важное обстоятельство и даже утверждая обратное,—следственный же материал показывает, что Петров был членом общества, чего не отрицал и он сам в своих показаниях на допросах.

Таким образом, мы видим, что, скрывая это обстоятельство, он стремится как бы смягчить свою вину предательства лиц, к которым он, по его словам в «записках», не имел никаких обязанностей революционной дисциплины. Тут же необходимо отметить еще одну неточность. В воспоминаниях Петров говорит, что его повезли в Петербург тотчас после первого допроса. Это неверно. Он был еще раз допрошен в Киеве 29 марта, и лишь после этого второго допроса он был отправлен в Петербург.

Причины вторичного ареста Петрова Третьим отделением описаны им несколько иначе, чем это рассказывает сам жандарм Л. В. Дуббельт в своих записках.

«Однажды,— пишет Дуббельт,— император Николай получил по городской почте анонимное письмо с приложением собственноручной высочайшей резолюции карандашем, очевидно, вырезанной из дела и с объяснением, что посыпается она, как доказательство, что в Третьем отделении за деньги можно получить все, не исключая и царской подписи. Поднялась тревога, и вскоре оказалось, что резолюция вырезана из бумаги далеко не важного содержания, а именно: в которой шла речь о лошадях жандармского дивизиона. Бумага эта хранилась в архиве Третьего отделения и оказалась с вырезанной резолюцией в своей картонке. Подозрение тотчас жепало на Петрова, и это тем более, что в этот день он был дежурным и по окончании присутствия оставался в канцелярии один. Петров сознался, объяснив, что сделал это из мести, и за свой поступок выдержан был более года в крепости и сослан».

Петров рассказывает этот эпизод иначе. Он говорит, что он даже не знал, за что у него был сделан обыск самим Дуббельтом, не знал, за что арестован, не понял он этого и во время допросов, о чем подробно рассказано в его записках.

Именно в этой части, где вскрываются внутренние пружины деятельности Третьего отделения, иезуитские способы допросов, инквизиторские угрозы, застрашивания, запугивания и, наконец, способ самого заключения,— записи особо интересны и вносят несомненно некоторые новые данные.

Однако ни в коем случае нельзя перекрывать трагическим временем сидения Петрова в Петропавловке, несомненно, отвратительное его поведение по политическому процессу Кирилло-Мефодиевского братства. Поведением болтуна, «чистосердечно предающего», заслужил он благоволение царя и деятелей Третьего отделения. Именно поэтому он был введен, как одно из доверенных лиц, по личному повелению царя, в Охран-

ное отделение своего времени. Этого вполне достаточно, чтобы мы отнеслись к нему навсегда и бесповоротно отрицательно. То, что Дуббельт воспользовался им для выгораживания себя и не задумался погубить его,— это в порядке вещей Третьего отделения.

Записки Петрова, несомненно, интересны во многих отношениях, и мы публикуем их как исторический документ.

С. Щеглова.

### ЗАМЕТКА К ВОСПОМИНАНИЯМ А. М. ПЕТРОВА «ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО»

Воспоминания эти вызваны были следующим обстоятельством. В февральской книжке журнала «Киевская старина» 1883 появился отрывок статьи Н. И. Костомарова, в котором рассказывались события, сопровождавшие арест и ссылку членов «Общества свв. Кирилла и Мефодия» — Шевченко, Костомарова и др. В отрывке этом Петрову прямо приписывалась роль доносчика.

Понятно, что прямое, печатное указание Костомарова причинило Петрову много горя и неприятностей, особенно среди общества, в котором он жил в Малороссии (г. Стародуб), где свято чтут имена поэта и историка. С целью оправдать себя в глазах других покойный написал свои воспоминания «Из далекого прошлого» и просил знакомых сбратиться и выслушать их. Помнится, с этой целью несколько человек собралось у А. В. Шугурова, где Петров и читал свои заметки; затем он хотел их поместить в «Киевской старине».

Однако же воспоминания эти в редакцию «Киевской старины» покойным посланы не были; что помешало Петрову отослать их для напечатания — мне в точности не известно, но до самой смерти Алексей Михайлович высказывал, что он чист пред совестью, радеть же о публичном своем оправдании ему не представлялось уже надобности: чаша страданий была выпита до дна, и передавать дело на суд публики, по словам покойного, значило лишь растревожить старые раны.

Воспоминания, писанные в 1883 году, доведены лишь до 1867 года; о дальнейшей своей судьбе покойный умалчивает, выражая лишь единственное желание «как-нибудь благовиднее окончить это жалкое существование». И действительно, жизнь Петрова с 1867 года по день смерти (в 1886 году) не представляла ничего достойного примечания: в последнее время покойный крайне бедствовал, добывая скучные средства уроками музыки; умер совершенно неожиданно, без болезни и страданий. Несколько верны обстоятельства, приведенные в воспоминаниях, не берусь судить, но, лично зная покойного, я склонен поверить всему им написанному; по характеру своему Алексей Михайлович не был ни искателем милостей у сильных, ни даже вообще карьеристом; это был человек чисто книжный, в житейских делах непрактичный до ребячества.

Всегда молчаливый, задумчивый и сосредоточенный, покойный, видимо, страдал от людской молвы, но по скромности не желал публично оправдывать себя, предпочитая этому «героизм молчания», которое, по словам воспоминаний, он соблюдал даже в своей семье...

Во избежание недоразумений считаю необходимым оговориться. Конечно, нельзя оправдать покойного ни в том, что, недостаточно зная Подгурского, он так неосторожно передал ему кольцо и устав Общества Кирилла и Мефодия, ни в том, что в III отделении он решился в глаза уличать Гулака в принадлежности к обществу, ибо молчание Гулака

находит объяснение не в малодушии, а скорее в нежелании выдавать своих товарищей; еще менее прав был Петров, решившись за свою откровенность и добывшие от него сведения просить удвоить пенсию для матери. Но во всяком случае иное дело — неосторожность, отсутствие гражданского мужества и гнет нужды, и совершенно другое — умышленное извращение фактов с целью путем гибели других утвердить свое личное благополучие. Кстати, в своих записках Петров не упоминает, что Киевского университета он не окончил и звание действительного студента получил по повелению государя.

Относительно дела Дуббельта, за которое Петров был сначала заключен в крепость, а затем сослан в Олонецкую губернию, мне удалось добыть следующие сведения: на беспорядки в III отделении, действительно существовавшие, сделан был донос лично государю, причинивший много неприятностей Л. В. Дуббельту; подозревая в доносе этом Петрова, Дуббельт произвел у него обыск и затем постарался сбыть неприятного человека тем путем, который подробно рассказал в записках.

М. Успенский.

1 мая 1888 года,  
г. Стародуб Черниговской губернии.

### Из далекого прошлого

Воспоминания А. М. Петрова о Кирилло-Мефодиевском обществе.  
Поправка к рассказу Н. И. Костомарова

На днях попался мне в руки 47-й № «Московского телеграфа» от 17 февраля настоящего года; в номере этом между прочим из февральской книжки издаваемого вами журнала «Киевская старина» перепечатан в отделе из общественной жизни и печати отрывок статьи Н. И. Костомарова<sup>1</sup>, где почтенный ученый, как говорит газета, рассказывает любопытную историю своего ареста за участие в Обществе Кирилла и Мефодия. Так как в отрывке этом, помещенном в газете довольно распространенной, впервые, сколько мне известно, с полной определенностью говорится о бывших студентах Киевского университета Петрове и Андруссом<sup>2</sup> и о тех пока-

---

<sup>1</sup> Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, один из организаторов Общества Кирилла и Мефодия; во время ареста он был лектором Киевского университета; арестован был 28 марта 1847 года, был присужден к заключению в крепости на один год, а затем к ссылке в одну из отдаленных губерний на службу (государь приписал «в Вятскую»); был выслан в Саратов, откуда вернулся в Петербург в 1859 году, когда был избран профессором Петербургского университета.

<sup>2</sup> Андрусский Юрий Львович (р. 1827) — был членом Кирилло-Мефодиевского братства, будучи в это время студентом Киевского университета; арестован был 30 марта 1847 года и отправлен в Петербург. На следствии давал много сведений об обществе и его членах, в чем

заниях, которые они давали в III отделении, как лица, прикосновенные к бывшему Кирилло-Мефодиевскому обществу, и как этот бывший студент Киевского университета Петров — я, живущий в настоящее время в г. Стародубе Черниговской губернии, при том же почтенный ученый желает сказать об этом обществе, во-первых, сущую правду<sup>1</sup>, а, во-вторых, несправедливо, без указания на источник, из которого он почерпнул,—свидетельствует о данных будто бы мною против него в III отделении показаниях<sup>2</sup>, то я, будучи не согласен ни с правою, о которой свидетельствует уважаемый ученый касательно общества, ни с тою фантастически измышленною правою, которая касается собственно меня, решаюсь обратиться к посредству Вашего журнала в полной уверенности, что и по закону, и по чувству справедливости вы дадите место на его страницах и моим воспоминаниям из этого далекого прошлого. Вы видите, что я еще живу и живу в крае, который привык считать себя Малороссией, где особенно уважается имя талантливого историка и справедливо почитается память талантливого поэта, следовательно, сколько для восстановления истины, которая так желательна и самому Костомарову, столько же и защищая лично самого себя от тех нареканий и предосудительных толков, которые в случае моего молчания могут иметь место, я вынужден говорить; рассказ мой предназначается собственно потомству, но, вызываемый в настоящее время современниками, мне кажется, он не будет лишен некоторой занимательности и интереса и для них; при том же, хотя я во многом не согласен с почтенным ученым относительно его свидетельств и выводов об Обществе Кирилла и Мефодия, но не могу не принести

---

потом раскаялся. Он был приговорен к переводу в Казанский университет, а затем на службу в одну из великорусских губерний; в 1848 году он просил его уволить из университета по болезни, что и было сделано; он был послан в Петрозаводск на службу, а затем у него снова был сделан обыск, после которого его выслали в Соловецкий монастырь.

<sup>1</sup> «Не лишним будет по случаю сообщения г. Кулиша сказать об этом обществе правдивое слово» и ниже: «пора сказать о нем сущую правду» (*«Киевская старина»* 1883, февраль, стр. 226 и 230).

<sup>2</sup> «Двое киевских студентов Петров и Андрусский в III отделении показали на меня ужаснейшие вещи, и хотя первый, по смыслу, заключающемуся в его показаниях, был самим графом Орловым обличен во лжи, а второй, написавши про меня множество клевет, поставленный на очную ставку со мной, объявил, что все написанное обо мне ложь, тем не менее их показания оставляли влияние на генерала Дуббельта» (там же, стр. 228).— Эти слова Костомарова не находят подтверждения в данных следствия.

ему глубокой и искренней признательности за то, что своею заметкою, попавшею в газеты, он, так сказать, снимает с меня героизм вынужденного молчания, молчания, которое я соблюдал даже в своей семье, а, признаюсь, геройзм этот тяжел, и я выношу его уже не один десяток лет.— Прочитав перепечатку «Московского телеграфа» и решившись возражать против показаний г. Костомарова, как несправедливых и не согласных с истиною, я прежде всего позаботился обратиться к самому рассказу, т. е. к февральской книжке Вашего журнала за настоящий год; при этом мне удалось ознакомиться не только с этой книжкою «Киевской старины», но получить и январский номер того же журнала с обязательным указанием, что и в этом номере в помещенных письмах Шевченка к Бр. Залескому упоминается моя фамилия и при том с комментарием редакции; это-то обязательное указание с одной стороны, а с другой — комментарий редакции еще более убедили меня в невозможности молчания.— Воспоминания об Обществе Кирилла и Мефодия помещены в статье его «Кулиш и его последняя деятельность», в одном же из писем Шевченка к Бр. Залескому, январь 1854 года, Шевченко, между прочим, говорит: «а Ильяшенко и Петрова забудь и ты так, как я их не помню», к этому редакция в выноске прибавляет: «Петров — тот студент, который донес на Кирилло-Мефодиевское братство».

Итак, поговорим сначала об обществе, а затем я расскажу и о моих к нему отношениях. При чем предупреждаю, что все мною сообщаемое по поводу Общества Кирилла и Мефодия почерпается из рассказа и сношений с Николаем Ивановичем Гулаком<sup>1</sup>, единственным лицом, с которым я был лично знаком, живя с ним в одном доме, никого из лиц, о которых упоминает в своих воспоминаниях Костомаров, я лично не знал, никогда не слышал их фамилий и не видел их в глаза, разумеется за исключением самого Костомарова, который, заняв в то время кафедру русской истории, интересовал студентов своими чтениями и несколько лекций которого я действительно посетил, как дилетант, где и видел, так как историю русскую и всеобщую слушал давно уже у профес-

<sup>1</sup> Гулак Николай Иванович (1822—1899) — член Кирилло-Мефодиевского общества, служил в канцелярии киевского генерал-губернатора, был арестован 18 марта 1847 года, присужден к заключению в Шлиссельбургскую крепость на три года, затем жил в Перми под надзором полиции; позже был преподавателем в Одессе, Керчи и Тифлисе.

соров Ставровского<sup>1</sup> и Домбровского<sup>2</sup>, фамилию же Шевченко я впервые услышал от Гулака<sup>3</sup>, но лично никогда его не видел. Гулак же познакомил меня с его поэзией, мы иногда вместе читали и восхищались его произведениями, беседуя в то же время об удивительной судьбе талантов на Руси и искренно сожалея, что его невоздержанность преждевременно погубит его дарование. Обращаюсь ко всем живущим участникам Кирилло-Мефодиевского общества, в том числе и к самому Костомарову, не отказаться подтвердить справедливость моего свидетельства, что, за исключением Гулака, я лично ни с кем из них никогда не встречался; правда, это обстоятельство может быть доказано и подлинным делом III отделения, но этот источник, как всякий поймет, никому не доступен. Изложив события, предшествовавшие образованию этого общества, и его судьбу после арестования его членов в III отделении, почтенный ученый так заключает свой рассказ: «Так окончилось дело о славянском обществе Кирилла и Мефодия. Вот уже прошло с тех пор 35 лет, воды многое утекло, и те, которые поступили тогда на службу, теперь уже получают полную пенсию,—следовательно, самое это событие отошло уже в мир истории русской протекшей жизни: пора сказать о нем сущую правду, а правда о нем будет такова, что Общество Кирилла и Мефодия не существовало». С этим заключением г. Костомарова согласиться едва ли возможно; оно противоречит как фактам, насколько они мне известны из сообщений Гулака, так и тому, что говорит сам почтенный ученый в изложении обстоятельств, предшествующих его выводу. Почему атрибутами тайного общества неизбежно должны быть выборы, председатели, секретари, взносы, отчеты и пр. и пр., уважаемый историк не объясняет. Уж если собиралась известная группа людей, проникнутых одною идеей, с известными определенными целями, с заранее намеченными средствами и способами для достижения этих целей, хотя бы и не материальными, то такое

<sup>1</sup> Ставровский Моисей Иванович (1809—1882)—экстраординарный профессор всеобщей истории и статистики в Киевском университете.

<sup>2</sup> Домбровский Василий Федорович (1810—1845)—профессор русской истории Киевского университета.

<sup>3</sup> В показаниях<sup>4</sup> Петров говорит, что о Шевченко впервые он услыхал от Навроцкого: «Что же касается до чтения стихотворений Шевченко, то я могу сказать только то, что все сведения о Шевченко и его сочинениях я получил от бывшего студента Навроцкого, а прежде сего я и не знал о существовании Шевченко, так и его сочинения» (Грушевский, стр. 214).

собрание людей без всякой натяжки, по справедливости может быть названо обществом; можно утверждать, что общество это не имело известной общепринятой организации, но нельзя отрицать его безусловного существования. Сообщая сведения о возникновении мысли об Обществе Кирилла и Мефодия, Костомаров говорит, что мысль эта впервые образовалась в январе 1846 года из взаимных бесед между им — Костомаровым, Гулаком и Навроцким<sup>1</sup>; они собирались и толковали о том, как бы путем воспитания знакомить русское общество с славянским миром, и при этом составляли для себя *desidérata*, в которых выражалось то, что должно было лечь в основу будущей славянской взаимности. Далее эти *desidérata* Костомаров излагает в 8 выработанных ими положениях<sup>2</sup>. Все эти положения есть не что иное, как часть параграфов устава, как сообщил мне его Гулак, говорю часть, так как переданный мне Гулаком документ содержал их, сколько мне помнится, если не 21, то не менее 18 этих параграфов<sup>3</sup>. Согласен, что это были *desidérata*, но ведь всякие человеческие действия начинаются с *desidérata*, и человек или сам единолично принимается за осуществление этих *desidérata*, или входит в соглашение с другими, последнее мы называем обществом. Удивляюсь при этом, что почтенный историк не упоминает или правильнее пропускает самое важное из положений: положение, которое и послужило основанием к возбуждению преследования; не думаю, чтобы в этом случае ему изменяла память. Второе положение указанных

<sup>1</sup> Костомаров называет еще Василия Михайловича Белозерского.

<sup>2</sup> «1) Освобождение славянских народностей из-под власти иноплеменников, 2) организация их в самобытные политические общества с удержанием федеративной их связи между собою, установление точных правил разграничения народностей и устройства их взаимной связи предоставлялось времени и дальнейшей разработке этого вопроса историей и наукою, 3) уничтожение всякого рабства в славянских обществах, под каким бы видом оно ни скрывалось, 4) упразднение сословных привилегий и преимуществ, всегда наносящих ущерб тем, которые ими не пользуются, 5) религиозная свобода и веротерпимость, 6) при полной свободе всякого вероучения, употребление единого славянского языка в публичных богослужениях всех существующих церквей, 7) полная свобода мысли научного воспитания и печатного слова и 8) преподавание всех славянских наречий и их литератур в учебных заведениях всех славянских народностей» («Киевская старина» 1883, февраль). Это, конечно, не устав, а просто сводка всех возвранных кирилло-мефодиевцев.

<sup>3</sup> Петров, вероятно, соединяет вместе устав и правила общества, из которых первый содержит шесть параграфов, а второй — одиннадцать. Они напечатаны в «Киевской старине» (1906, февраль) и многократно перепечатаны.

г. Костомаровым *desidérata* выражено им так: «Организование их (т. е. славянских племен) в самобытные политические общества с удержанием федеративной между собою связи». Эта цель общества само собою разумеется не распространялась исключительно только на племена, обитавшие в Австрии и Балканском полуострове, она охватывала собою и славян, населявших Россию; путем воспитания предполагалосьзнакомить с славянским миром нас, славян восточных, и наоборот; выясняя наше племенное единство, как самобытных членов будущих политических обществ, долженствовавших войти в будущую конфедерацию с славянами южными и западными, так как ни мы, славяне восточные, ни славяне южные и западные в то время не имели между собою не только конфедеративной, но и никакой реальной связи. Но как из разрозненных славянских племен устроить самобытное и политическое общество? Как дать им конфедеративное устройство и затем сплотить в однородную политически самостоятельную национальность с удержанием этой конфедеративной связи, тогда как племена эти существовали и существуют в продолжение многих веков под абсолютным режимом трех неограниченных монархий? Вот вопрос, который разрешался Обществом Кирилла и Мефодия установлением еще одного *desidérata*, о котором умалчивает почтенный ученый, именно пропагандою устрания монархий и упразднения тронов, что и было выражено в уставе, переданном мне Гулаком, особым параграфом, вслед за рассуждением о самостоятельной политической организации славянских обществ и конфедеративном их устройстве со взаимною связью<sup>1</sup>. Этот-то параграф устава и составлял без сомнения тот *corpus delicti*, который подал повод правительству к арестованию членов общества, потому что, если признать задачами общества только те 8 положений, о которых упоминает в своем рассказе почтенный ученый, то, несмотря на всю суровость царствования императора Николая, на всю подозрительность Дуббельта<sup>2</sup> и современного этим событиям правительства, при-

<sup>1</sup> Очевидно, Петров имеет в виду 2-й и 3-й пункты устава, в которых читаем: «2. Принимаем, что при соединении каждое славянское племя должно иметь свою самостоятельность, а таким племенем признаем: южно-руссов, североруссов с белоруссами, поляков, чехов с словенцами, лужичан, сербов с хорватами и болгар. 3. Принимаем, что каждое племя должно иметь правление народное и соблюдать равенство по их рождению, христианским вероисповеданиям и состоянию».

<sup>2</sup> Дуббельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — начальник Третьего отделения.

водимые Костомаровым положения в таких практических людях, как Дуббельт и граф Орлов<sup>1</sup>, могли возбудить разве улыбку сожаления к фантазиям увлекающихся идеалистов, но никак не преследование; отсюда делается само собою понятным и желание устраниТЬ Кулиша<sup>2</sup> и Шевченко<sup>3</sup> от участия в обществе, из опасения подвергнуть их могущим встретиться неприятностям, как свидетельствует г. Костомаров<sup>4</sup>. Доказательство тому, что общество имело свой устав и эмблемою кольцо, служит еще и то свидетельство Костомарова, что Кулиш, остановившись в Киеве на пути за границу, знал о существовании устава и кольца, спрашивал о них у Белозерского<sup>5</sup>, и Белозерский, объясняя учреждение общества ребяческою затеюю, сказал, что устав они уничтожили, а кольца побросали в воду; следовательно, устав и кольцо между членами общества были фактами действительными и общеизвестными<sup>6</sup>. Несколько слов по поводу кольца. Пере-

<sup>1</sup> Орлов князь Александр Федорович (1787—1862) — шеф жандармов с 1844 года и главный начальник Третьего отделения.

<sup>2</sup> Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897) — украинский писатель и ученый; был арестован в 1847 году, присужден к заключению в крепости на четыре месяца, к ссылке в отдаленную губернию, — был сослан в Тулу; в 1850 году получил разрешение вернуться в Петербург; с 1856 года получил разрешение писать.

<sup>3</sup> Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — украинский поэт; был арестован 5 апреля 1847 года, присужден к отправке рядовым в Оренбург с запрещением писать и рисовать; в 1850 году был переведен в Новопетровское укрепление, а освобожден в 1857 году.

<sup>4</sup> «Но г. Кулиш при этом догадывался, что от него, как и от Шевченко, таятся, а впоследствии узнал, что основатели не хотели принимать в число членов Кулиша и Шевченко не потому, что не доверяли им, а потому, что слишком дорожили ими и опасались подвергать их могущим постигнуть их неприятностям, будучи уверены, что, и не вступая в общество, они по своей деятельности всегда будут ему полезны» («Киевская старина» 1883, февраль, стр. 225).

<sup>5</sup> Белозерский Василий Михайлович (1825—1899) — член Кирилло-Мефодиевского братства; во время ареста был учителем в кадетском корпусе в Полтаве; был приговорен к четырем месяцам заключения в крепости, потом на службу вне Украины; по резолюции государя Николая был прямо определен на службу в Олонецкую губернию с отдачею под надзор. Он служил в Петрозаводске, а в пятидесятых годах переехал в Петербург, где был редактором «Основы».

<sup>6</sup> «В конце 1846 года Кулиш отправился в путь за границу через Киев, где, как узнал во время его пребывания в Петербурге, его киевские друзья составили общество, которому дали название Общества Кирилла и Мефодия, написали устав и вымыслили даже знак или символ общества, перстень из литого железа с вырезанными на нем начальными буквами имен Кирилла и Мефодия. В Киеве, собираясь ехать за границу в славянские земли, с одним молодым человеком, бывшим в числе основателей

давая мне устав, г. Гулак в то же время передал и кольцо, как эмблему общества; по форме это кольцо действительно было тождественно с кольцами св. великомученицы Варвары, но на наружном его фоне, среди сделанных ободков, там, где на кольцах Варвары великомученицы помещена надпись — св. Варвара велик..., буквами такого же вида была вычеканена надпись: «Бр. свв. Кирилла и Мефодия», т. е. братство свв. Кирилла и Мефодия; таких колец было у Гулака не одно. Изобретение этого кольца г. Костомаров приписывает себе, [что может быть,] и говорит, что это была чистейшая его фантазия без всякой предвзятой мысли и заранее определенной цели<sup>1</sup>; с этим позволю себе не согласиться; трудно допустить такую произвольную фантазию у человека, давно уже вышедшего из юношеского возраста, серьезного и занимавшего кафедру профессора в университете; в особенности если эту фантазию мы сопоставим с неоспоримыми фактами существования Общества Кирилла и Мефодия, и, конечно, это мелочи, но мне кажется, что, несмотря на протекшие 35 лет, несмотря на то, что Общество Кирилла и Мефодия как событие отошло уже в мир истории протекшей русской жизни, и что г. Костомаров доискивается о нем одной только правды, в свидетельствах его не достает необходимой искренности.— Вот все мне известное идержанное памятью о некогда существовавшем Обществе Кирилла и Мефодия, необходимое как поправки к рассказу Костомарова. В заключение я снова должен повторить, что весь приведенный мною рассказ основан на сношениях моих с Ник. Иван. Гулаком, единственным человеком, с которым я был лично знаком и приходил в сношения по поводу некогда существовавшего общества. На этом я должен бы был и покончить; стоит ли говорить лично о самом себе; 35 лет тяжелых испытаний, без проблеска

этого общества, г. Кулиш, как он сообщает, спрашивал этого молодого человека об обществе, а тот отвечал, что то была ребяческая забава, что сами основатели одумались, уничтожили написанный устав, ибросали в воду перстни» (Там же, стр. 225).

<sup>1</sup> Говоря, что общества не было, Костомаров добавляет: «так же точно, как не было «перстня из литого железа» в качестве символа общества. Был у меня перстень не железный, а золотой с вырезанными внутри его именами славянских апостолов. Я сделал его себе гораздо ранее, и мысль к тому подали мне продававшиеся в Михайловском златоверхом монастыре кольца с именами Варвары великомученицы, освященные на могиле этой святой. Увидя такое кольцо у меня, кто-то из знакомых сделал себе такое кольцо, хотя с иными аксессуарами, потом, как мне говорено было, и еще кто-то... Но символами общества эти кольца не были» (Там же, стр. 227).

счастья, без мгновения радости, сроднили меня с моими страданиями, и они стали для меня дороги, погружаться в самого себя, вызывать к жизни омертвевшие части своего сердца и снова пытать биение его жизненного пульса есть тоже своего рода жизнь, а когда после этих испытаний ты приходишь к сознанию, что ничем не нарушил нравственного закона, который присущ человеческой природе, что за простую случайную непредусмотрительность 19-летнего юноши ты расплачиваешься целою жизнью, то ты можешь иногда даже и мириться с тяжелым существованием, выпавшим на твою долю. Таким образом, что касается лично до меня, то я продолжал бы упорно молчать, ни празднословное свидетельство уважающего историка, что на допросах в III отделении я показывал будто бы о нем ужаснейшие вещи, и что по смыслу, заключавшемуся в моих показаниях, сам граф Орлов изобличал меня во лжи<sup>1</sup>, ни комментарии редакции «Киевской стариной», прибавившей к моей фамилии Петров выноску, что это тот студент, который донес на Кирилло-Мефодиевское братство, как бездоказательные и брошенные на страницы печати без указания источника, откуда почерпнуты, не прервали бы моего молчания, но, для восстановления истины и чтобы положить предел клевете, хотя легкомысленной, я решаюсь говорить, и вот несколько эпизодов моей жизни. Я не буду оправдываться, совесть не упрекает меня в поступке, который мог бы оскорбить строгое чувство нравственности, я слишком горд своими страданиями, и всякое оправдание было бы для меня унизительным, поэтому я изложу только факты, предоставляя право судить о них каждому по его личному усмотрению.

Я родился в 1827 году в Малороссии; по матери, урожденной Лежучка, я малоросс, по отцу великоросс, и, как видите, с самою тривиальною русскою фамилиею. Среднее образование получил в Курске, в пансионе при тамошней гимназии, которую с удовлетворительным аттестатом и правом на 14-й класс окончил в 1844 году. Хотя Курская гимназия и принадлежала к Харьковскому учебному округу и пользовалась правами, которые давали возможность молодым людям, успешно ее окончившим, поступать в Харьковский университет без экзамена, тем не менее близость Киева сравнительно с Харьковом к месту моей родины, то, что все интересы Черниговской губернии по большей части с давних пор постоянно тяготели

<sup>1</sup> Данные следствия не подтверждают слов Костомарова.

к Киеву, уверенность в хорошей подготовке, полученной в гимназии, заставили меня решиться поступить в университет Киевский, несмотря на всеобщую ходившую молву о строгости тамошних экзаменов. С этой целью в конце июля 1844 года я приехал в Киев и остановился на Подоле у своего родственника, дяди, профессора математики при Киевской духовной академии, Давида Александровича Подгурского<sup>1</sup>.— Немедленно я подал прошение о принятии меня в число студентов университета и думал, что сейчас же буду подвергнут экзамену, но почему-то в этом году экзамены затянулись, и только в сентябре получил я извещение о явке в университет к испытанию. Все это время я прожил у Подгурского и от нечего делать занимался с его сыном Юрием, подготавляя его, кажется, к поступлению в семинарию. Трехмесячная жизнь в доме Подгурского сблизила меня с этим человеком, я привык видеть в нем не только родственника, но и человека близкого по сердцу, я проводил с ним большую часть своего времени. Это был человек глубоко религиозный, считал себя записным ученым, ревниво стоял за существующий порядок вещей, в правильность и истинность которого безотчетно веровал; от него у меня не было ничего заветного; будучи старше меня, я питал к нему почтение и уважение, как к отцу.— В конце октября я успешно выдержал экзамен и был принят в число студентов университета, где и пристроился к юридическому факультету. Дальность расстояния Подолии, где на берегу Днепра Подгурский имел свой небольшой домик, заставили меня с ним расстаться; мы простились друзьями, и я перешел на Крешатик, где мне дала приют в своей квартире полковница Саардинаки, муж которой был некогда товарищем моего отца по службе.

Сооружение университетской формы, строго в тогдашнее время соблюдавшееся, в особенности в таком университете, как Киевский, считавшемся опальным, приспособление к условиям новой жизни и занятий месяца в 4 совершенно опорожнили мой и без того тощий кошелек. Я знал, что мать, бедная женщина, ничем не может мне помочь, и, по общепринятыму порядку, должен был приискывать частных занятий преподаванием так называемых «кондиций»; в этом отношении мне повезло, я скоро нашел уроки в трех домах состоятельных

---

<sup>1</sup> Подгурский Давид Александрович (1803—1880) — профессор математики Киевской духовной академии с 1831 по 1859 год и профессор латинского языка той же академии с 1848 по 1870 год.

людей Ханыкова, Якубовича и начальника делового двора Киевского арсенала полковника Боговутта<sup>1</sup>. Найденные уроки совершенно обеспечили средства моего существования даже с избытком, но зато, как всегда, поглощали огромное количество времени и мешали университетским занятиям. По совету декана нашего факультета Богородского<sup>2</sup>, остановившего свое внимание на моих письменных работах, я решился избрать ученое поприще, но тогда совершенно изменился образ моих занятий: я должен был пожертвовать уроками и сосредоточиться на науке. Между тем отсутствие всяких средств к существованию совершенно лишило меня возможности приступить к исполнению этого намерения немедленно, и потому я решился продолжать попрежнему свой образ жизни и занятий, скопить небольшую сумму денег, которая бы дала мне возможность просуществовать независимо по крайней мере с год, чтобы усиленным трудом в университете наверстать потерянное.— На лето 1846 года Ханыковы предложили мне ехать в их екатеринославское имение и заняться окончательно подготавкою их сына в учебное заведение, а также читать лекции литературы их взрослым дочерям; вознаграждение было назначено солидное, так что это приглашение шло, так сказать, навстречу моему намерению. Таким образом лето 1846 года я провел в Екатеринославской губернии; в конце сентября возвратился в Киев с суммою почти дс 500 рублей серебром в кармане и немедленно позаботился найти квартиру как можно ближе к университету, запасся необходимыми пособиями, и, наняв квартиру у протоиерея Софийского собора<sup>3</sup>, прилежно сел за науку. Я занимал две небольших комнаты во флигеле; рядом со мною была еще квартира, кемто занятая. Все время мое было посвящено университету и занятиям дома; соседа моего по квартире почти не было слышно, выходить из дома приходилось нам как-то так, что мы не встречались даже в сенях, которые были общими; так прошло более месяца.— Один раз ко мне зашел хозяин дома — почтенный отец протоиерей; я пил чай, и, пригласив его присесть, предложил чаю; мы разговорились, предметом беседы были мои научные занятия. «А знакомы ли Вы с Вашим соседом?» — спросил меня отец протоиерей; я отвечал, что пока

<sup>1</sup> Боговутт Леонтий Яковлевич — полковник, начальник делового двора Киевского арсенала.

<sup>2</sup> Богородский Савва Осипович (1804—1857) — профессор и декан юридического факультета Киевского университета.

<sup>3</sup> В доносе — Завадского, протоиерея Андреевской церкви.

еще нет. «Как же так, судя по Вашим фолиантам и летописям, предметы ваших занятий одни и те же, да при том же он такой же домосед, как и Вы? — Познакомьтесь, вам не будет так скучно,—впрочем, что я говорю, я сам вас познакомлю». При этом почтенный старик встал, мы простились, и он ушел. В наступившее воскресенье я получил приглашение от уважаемого старика притти к нему в час дня отобедать. В назначенный день и час я был в небольшом домике отца протоиерея, помещавшемся в глубине двора; войдя в залу, где был уже накрыт обеденный стол, я радушно был встречен хозяином и, между прочим, заметил присутствие еще одного постороннего лица, брюнета человека среднего роста и лет, с пепловидным цветом лица, всегда отличающим людей, посвятившим себя усидчивым книжным занятиям. Отец протоиерей подвел меня к гостю и отрекомендовал: «Николай Иванович Гулак, Ваш сосед»; мы познакомились. Обед прошел в общих разговорах, и вскоре после обеда мы расстались; так завязалось мое знакомство и сношения с Гулаком. Сначала мы виделись довольно редко, но потом наши взаимные посещения сделались более частыми. Н. И. Гулак служил в то время в канцелярии Бибикова<sup>1</sup> и готовился, если не ошибаюсь, к экзамену на магистра и кажется по истории. Предметы общих наших занятий были таковы, что, по необходимости, часто сводились к вопросам политическим; в то время труды Шафарика<sup>2</sup>, Ганки<sup>3</sup>, Домбровского<sup>4</sup>, Коляра<sup>5</sup> сильно оживили славянскую идею среди западных славян Австрии; приближался грозный 1848 год, и эта идея, как и многие другие, старою историческою дорогою, первое сочувствие нашла в Киеве. Мысль Кирилло-Мефодиевского братства, без сомнения, была навеяна именно этим славянским движением; по крайней мере, сколько помню, мы часто беседовали об этом с Гулаком, и в конце концов [он] сообщил мне, что и в Киеве образовался кружок людей, сложившийся в обществе, сочувствующий этим идеям и стремящийся их пропагандировать путем воспитания и распространения в обществе, но что

<sup>1</sup> Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870) — киевский военный губернатор и генерал-губернатор Юго-Западного края, а с 1852 года — министр внутренних дел.

<sup>2</sup> Шафарик Павел Иосифович (1795—1861) — чешский ученый-славист.

<sup>3</sup> Ганко Вацлав (1791—1861) — деятель чешского возрождения.

<sup>4</sup> Домбровский Иосиф (1750—1829) — чешский славяновед.

<sup>5</sup> Коляр Ян (1793—1852) — чешско-славянский поэт.

он познакомит меня с этим кружком тогда, когда мы ближе узнаем друг друга.

Весною или в конце зимы 1847 года Бибиков был потребован в Петербург, куда и отправился в сопровождении своего правителя канцелярии, известного Николая Орестовича Писарева<sup>1</sup> и частью своих чиновников; в числе поехавших с Бибиковым в Петербург, в составе его канцелярии был и Ник. Ив. Гулак.— Перед отъездом, однажды вечером беседуя со мною о славянском движении, Гулак сообщил мне, что общество, образовавшееся в Киеве, носит название свв. Кирилла и Мефодия, имеет устав и своею эмблемою избрало кольцо, сделанное наподобие кольца Варвары великомученицы, при чем показал и передал мне и то и другое; знакомство же мое с остальными членами кружка мы отложили до осени, так как скоро наступает лето и многие из них, вероятно, разбредутся в разные стороны.— Это было наше последнее свидание; в последствии времени мы встретились при грустной обстановке в III отделении на очных ставках в присутствии графа Орлова и Дубельта. Спустя несколько дней Гулак действительно уехал в Петербург. Зарабатывая средства существования уроками, ревностно посещая университет, я не имел времени сводить знакомства и почти никого близко не знал, даже из своих товарищей по курсу, но продолжал изредка посещать дом дяди Подгурского; отношения наши попрежнему были родственные и дружественные: встречались мы всегда радушно, и попрежнему я поверял ему все касавшееся моей жизни и занятий; после моего знакомства с Гулаком я беседовал с ним и о начавшемся славянском движении, с тем, какое сочувствие оно нашло у нас и в особенности в Киеве. После отъезда Гулака, не помню в какой-то вечер праздничного дня я зашел к Подгурскому, захватив с собой переданный мне Гулаком устав и кольцо; что руководило мной в подобном поступке, что заставило доводить откровенность до такой степени — трудно сказать в настояще время; думаю, что в этом поступке играло немаловажную роль и юношеское самолюбие, подсказывавшее, что вот мол и ты политический деятель. Мы пили чай и долго беседовали; между прочим, я показал ему устав Общества Кирилла и Мефодия, написанный на большом листе почтовой бумаги, и кольцо; как теперь помню, Подгурский сидел у письменного стола, внимательно осмотрел кольцо и перешел к чтению устава; в это время в

<sup>1</sup> Писарев Николай Орестович — правитель канцелярии Бибикова.

соседней комнате послышались чьи-то шаги и в дверях показалась фигура незнакомого мне человека — товарища Подгурского по Академии; Подгурский сунул переданные ему мною вещи в ящик стола и обратился с приветствием к вошедшему; разговор переменился, пришедший начал приглашать Подгурского куда-то ити на предполагаемую вечеринку, дядя изъявил согласие и пошел одеваться. Вскоре он вышел, и мы все вместе отправились; устав и кольцо так и остались в письменном столе Подгурского. Выходя, он, между прочим, мне заметил, что все будет цело, но что ему интересно познакомиться с этими бумагами; так мы и расстались. Спустя неделю три или около месяца после описанного свидания я получил из Стародуба тревожное письмо от матери, в котором она извещала меня, что получила сведения о том, что я пристал к какому-то тайному обществу, что мне угрожает гибель, и чтобы я на каникулярное время непременно приехал домой; со временем поступления в университет я ни одного вакационного времени не проводил дома; я понял, откуда она могла получить эти сведения, и поспешил зайти к Подгурскому объясниться с ним, взять и уничтожить отданые ему мною вещи. На этот раз Подгурский встретил меня как-то неловко, избегал заводить разговор на обыденные темы наших бесед, и когда я прямо сказал о полученном от матери письме и заметил, что такие вещи не следовало бы доверять почте, при чем попросил возвратить мне устав и кольцо, которое я хочу уничтожить, так как других признаков моего участия в этом деле нет, то на это он мне отвечал, что предупредить мать считал своею обязанностью, что же касается кольца и устава, то лучше мне их не иметь, а постараться скорее уезжать из Киева, кстати же теперь наступает вакационное время, и что со временем, когда я успокоюсь, то сам буду ему благодарен за образ его действий. Уходя, я внутренне сознавал, какая величайшая глупость мною сделана, но вернуть сделанного было уже невозможно. Спустя более 20 лет, в 1861 году, оставив службу и возвратясь на родину, я был в Киеве и навестил Подгурского; это был уже глубокий старик в отставке, с полным пенсионом в чине действительного стат[ского] совет[ника], разбитый параличом; жил он на том же Подоле на берегу Днепра, но уже в другом каменном доме; мы встретились радушно; я хотел вспомнить прошедшее и разъяснить себе, при каких условиях устав и кольцо Кирилло-Мефодиевского общества попали в руки Трас-

кина<sup>1</sup>, но для этого мне хотелось остаться с ним наедине, старику же, видимо, этого избегал и ни на минуту не отпускал от себя своей дочери; видя, что мне не удастся остаться с ним с глазу на глаз, я решился обратиться к нему прямо с вопросом по этому предмету. При первых моих словах старику засуетился; «нет, нет, не будем вспоминать прошлого, благо оно кануло в вечность», и от нервного движения на глазах показались слезы; я не стал более его беспокоить, и на другой день я уехал из Киева, и больше мы с ним не видались. Придя домой—я в это время снова уже жил на Крещатике в доме Боговутта, о котором говорил прежде; Боговутт упросил меня на лето перейти к нему и заняться воспитанием его детей, при том же сумме денег, привезенная мною от Ханыковых, большую частью истраченные на книги, оказались вовсе не так велика, как я предполагал. Полковник Леонтий Яковлевич Боговутт была личность почтенная и высокоуважаемая, он был также товарищем моего отца по службе в артиллерии и вместе с ним совершил турецкую кампанию 1828 года; вторично живя у него и близко с ним сошедшийся,—после посещения Подгурского, я ему все рассказал откровенно, объявив в то же время, что на вакационное время намерен уехать из Киева к матери.—Пожурил меня старику за увлечение, но поехать не советовал, «может быть все это кончится ничем», говорил он мне, а если в случае что-либо и откроется, то поездка в Стародуб, нисколько меня не спасая, произведет только больше шума и огласки. Я с ним согласился и остался.

Не стану говорить, как нелепо было мое положение после всех этих событий; искусственное спокойствие и беззаботность физиономии, которую я каждый раз устраивал себе при выходе с квартиры, кажется, должна была выдать меня каждому жандарму, каждому полицейскому; с особеною осторожностью ходил я мимо квартиры попечителя Траскина, которая была в нескольких десятках шагов от дома Боговутта. Долго ли, коротко ли продолжалось это беспокойное для меня время, с точностью не помню, но помню, что вскоре в Киеве начали ходить темные слухи об арестах, и в один прекрасный день, часов около 4, после обеда университетский педель пригласил меня немедленно явиться к попечителю. Я оделся и пошел; в зале, в которую я был введен, я увидел тучную фигуру Траскина, сидевшего за огромным письменным столом, а в

<sup>1</sup> Траскин Александр Семенович.

стороне поодаль помещался его помощник Юзефович<sup>1</sup>. При появлении моем в зале Юзефович поспешно встал и удалился. Траскин после официального опроса о моей личности отодвинул ящик письменного стола, из которого появился знакомый мне листок почтовой бумаги и кольцо; не говоря ни слова о том, каким образом эти предметы попали в его руки, Траскин прямо обратился ко мне с вопросом о моем участии в Обществе Кирилла и Мефодия; заранее обсудив это дело, я решился откровенно и без всякой утайки рассказать все, что я знал, тем более, что, имея сношения с одним Гулаком, не зная ни одной фамилии других участников, веря существованию общества только по рассказам Гулака, которые могли оказаться и недостоверными, я не рисковал кому-либо повредить,— так я и поступил.

После обычных сетований, упреков и сожалений об увлечениях молодости, разговор наш иссяк, но Траскин меня не отпускал, видимо чего-то ожидая, предложил сесть и подождать, а сам углубился в чтение какой-то книги; спустя полчаса времени в передней послышались шаги, в залу вошел Юзефович, за ним несли мои картонки с бумагами; их поставили на стол, бумаги тщательно пересмотрели, перенумеровали, уложили на прежнее место, картонки обвязали снурком и запечатали казенною печатью; окончив эту работу, Траскин объявил мне, что я должен пойти и приготовиться вечером отправиться в Петербург.— Откланявшись с Траскиным, выйдя в переднюю, я был встречен полицейским чиновником, который и отправился со мною на квартиру; пока я укладывал вещи свои, ко мне вошел Богоутт и обратился с расспросами о том, что со мною происходило у Траскина, рассказал в то же время о посещении квартиры Юзефовичем и арестовании моих бумаг; разговор мы вели на немецком языке, разумеется непонятном полицейскому чиновнику.— Часов в 8 вечера, когда начало смеркаться, к дому Богоутта подъехала почтовая тройка, и в сопровождении того же полицейского чиновника, с моими запечатанными картонками, я направился по дороге в Петербург; дружески прощаюсь с семейством Богоутта, старик сунул мне в руку несколько кредиток, и мы расстались.— Меня везли в Петербург на курьерских, и, признаюсь, это было тяжелое испытание проскакать в сутки, не останавливаясь, более двухсот верст, надо иметь крепкий

---

<sup>1</sup> Юзефович Михаил Владимирович (1802—1889) — был с 1846 по 1858 год попечителем Киевского учебного округа.

организм; хорошо еще, что и спутник мой был так же не- привычен, как и я, и, после первой скачки по невыносимым в тогдашнее время дорогам, мы остановились отдохнуть, продолжая путь. В Орле мы встретились с возвращающимся из Петербурга обратно в Киев правителем канцелярии Бибикова Писаревым; он пил чай и завтракал; узнав, кого везут, он пригласил меня к себе, расспрашивал о деле и, прощаясь, сказал, что если я сумею вести себя и буду осторожен, то все дело может кончиться пустяками; это меня немножко успокоило, наставление же, данное им полицейскому чиновнику, позволило нам уже не так бешено спешить.— Подъезжая к Петербургу, на последней станции мы остановились на несколько часов, оба привели себя в порядок; я натянул свой студенческий мундир, и часа через два мы подъезжали к известному дому недалеко от Летнего сада.— Было около 11 часов дня, и нам не пришлось долго ждать Дуббельта, который всегда около этого времени возвращался от доклада у графа Орлова; через час после того, как мы вошли в приемную III отделения, к подъезду приблизилась карета, а через несколько минут в ту же приемную вошел небольшого роста мужчина, в генеральской форме с необыкновенно живою походкою и движениями, с глазами, бегавшими во все стороны, это был Дуббельт; скоро заметив нас, он сейчас же приказал указать мне особую комнату, принять от сопровождавшего меня полицейского чиновника бумаги и выдать ему квитанцию.— «Ты же теперь отдохнешь,— сказал он, обращаясь ко мне:— а завтра тебя спросят». На другой день действительно меня потребовали к допросу; показания отбирал начальник 1-й экспедиции (Костомаров его называет делопроизводителем секретной экспедиции), Михаил Максимович Попов<sup>1</sup>, бывший некогда в Казани воспитателем Белинского; на допросе я показал с полюю откровенностью все, что мне было известно об Обществе Кирилла и Мефодия, из моих сношений с Гулаком в том виде, как это изложено в настоящем рассказе; в моем показании, кроме фамилии Гулака, не фигурировала ничья другая, да и не могла фигурировать, так как я никого и не знал из членов общества; во время следствия, правда, мне намекали на некоторые фамилии, но я категорически подтвердил, что все мне известное мною

<sup>1</sup> Попов Михаил Максимович (ум. 1872) — был учителем истории в Пензенской гимназии, когда там учился Белинский, с конца тридцатых годов служил в канцелярии Третьего отделения.

объяснено с полною откровенностью, что ни о ком из названных лиц я ничего свидетельствовать не могу, так как, за исключением Гулака, никого из них не знал.— Хотя в III отделении вовсе не следовали общепринятым правилам при отборании допросов, т. е. чтобы допрашиваемые сами их писали или по крайней мере подписывали свои ответы, но помню, что это показание мною подписано.

Нельзя не пожалеть, что в настоящее время, под старость, уважаемого историка начинает оставлять его историческое беспристрастие: в самом деле, с какою целью в своих воспоминаниях об Обществе Кирилла и Мефодия г. Костомаров позволил себе сказать, что Петров показывал о нем в III отделении ужаснейшие вещи и по смыслу, заключавшемуся в этих показаниях, сам граф Орлов изобличал его во лжи? Откуда почерпнул он эти сведения? Лично ли присутствовал г. Костомаров на даваемых мною показаниях или ему кто-либо сообщил о них, из людей компетентных и близко стоявших к делу, но к нему неприкосновенных? Если верно последнее, то кто же этот господин? Или, может быть, почтенный ученый рискнул допустить, что этот Петров, о котором в течение 35 лет не было никакого слуха, давно уже исчез с лица земли и о нем можно сказать все, что угодно, не ожидая возражений.— Вы видите, что подобные предположения бывают ошибочны, что еще жив курилка, что он еще не лишен способности говорить, ни даже способности мыслить, т. е. способности учиться умирать, по словам Сенеки. Что бы стоило уважаемому историку, желая свидетельствовать правду о том, что ему известно об Обществе Кирилла и Мефодия, забыть прежний страх перед III отделением, навести более точную справку в делах этого отделения, ведь он в настоящее время в чинах и, вероятно, пользуется полною пенсиею, разумеется не для того, чтобы обнародовать документы этого дела, что невозможно, а чтобы быть более осмотрительным, молчать о том, что неизвестно достоверно, а не бросать клеветою в человека, по крайней мере, по отношению к г. Костомарову уже ни в чем не повинного, а я думаю, что в этом едва ли отказали [бы].

Дня через два после выше рассказанного мною события я был позван в кабинет Дуббельта, где он мне объявил, что с настоящей минуты я относительно свободен, что мне неподалеку от III отделения взят номер в гостинице, где я должен жить впредь до распоряжения, не должен много ходить по Петербургу, каждый день в 11 часов являться в

III отделение и уходить из него вместе с прочими чиновниками; могу посещать театр, для чего граф Орлов приказал выдать мне 25 руб.; написать к матери успокоительное письмо, что ничего особенного мне не угрожает, и послать ей 100 руб.— По уходе от Дуббелта те и другие деньги я получил.— Еще прошло недели три, и меня потребовали в кабинет графа Орлова; едва я вошел в одни двери, как из противоположных дверей показалась фигура Гулака; в кабинете присутствовали граф Орлов, Дуббелт и Мих. Макс. Попов. При входе Гулака граф Орлов обратился к нему с вопросом, узнает ли он меня? Гулак отвечал утвердительно, тогда граф Орлов приказал Попову прочитать данное мною показание, после чего, обращаясь к Гулаку, спросил, признает ли он это показание справедливым?— Гулак отвечал, что «он был со мною очень мало знаком, очень редко виделся и в настоящее время не может припомнить, были ли между нами те разговоры и сношения, о которых я свидетельствую»<sup>1</sup>; после этого ответа граф Орлов, обращаясь ко мне, спросил, что я на это скажу? В этом ответе, сказанном мне прямо в глаза, я увидел какое-то малодушие и подтвердил данное мною показание. «Так вы были мало знакомы с Петровым,— обратился граф Орлов снова к Гулаку,— и не вели с ним никаких разговоров по поводу Общества Кирилла и Мефодия?» Гулак отвечал отрицательно.— «Даже не вели, пожалуй, вообще никаких политических разговоров?» снова переспросил граф Орлов. «Не припомню», отвечал Ник. Иван. «Ну, после такого упорства Вы не заслуживаете пощады,— сказал граф Орлов и приказал увести Гулака,— о тебе же я позабочусь»,— обратился он ко мне и тоже приказал выйти.— Еще прошло довольно времени, в которое я попрежнему продолжал посещать III отделение; однажды Мих. Макс. Попов пригласил меня в особую комнату и, сказав, что на днях по делу Кирилло-Мефодиевского общества приготовляется доклад государю, объявил, что граф Орлов поручил ему передать мне, что он доволен искренностью моих показаний и честностью моего поведения в этом деле и хотел бы что-либо для меня сделать, поэтому приказал спросить о моем семейном положении и о моих предположениях касательно моей будущности, на это предложение [я ответил], что лично для себя я ничего не желаю, кроме дозволения окончить свое образование и по-

<sup>1</sup> Действительно, Гулак сказал, «что может быть вел какие-либо разговоры, но не помнит содержания оных» (Грушевский, стр. 245).

святить себя ученой деятельности, и если возможно, то увеличить пенсию моей матери, которая, будучи бедна, обязана еще воспитывать младших братьев. «Что Вы скажете о поступлении на службу?» спросил меня Мих. Макс. Попов. Я отвечал, что положительно не чувствую расположения к служебной деятельности.—Попов меня отпустил, а на другой день прочитал мне результаты наших объяснений и предложил их подписать.—Наконец, спустя дней десять меня снова потребовали, но уже не в 1-ю экспедицию, как прежде, а в кабинет Дуббельта, где из огромной толстой тетради, вероятно, общего доклада о всех привлеченных к делу Общества Кирилла и Мефодия, прочитали отрывок, касающийся меня; в конце этого отрывка, а он только и был мне прочитан, граф Орлов, свидетельствуя об искренности данных мною показаний и честности поведения, поручая участь мою особому вниманию государя, высказывал мнение, что он полагал бы всего лучше определить меня чиновником в III отделение канцелярии его величества с выдачею вперед годового жалования на экипировку и увеличить получаемый моею матерью пенсион вдвое, возвращение же мое обратно в университет для продолжения образования он признает при том характере, который приняло настоящее дело, едва ли возможным—с боку карандашем рукою покойного государя Николая Павловича сделана была следующая резолюция: «Да, согласен»; резолюция эта была мне прочитана и показана.

Таковы были мои отношения к некогда существовавшему Обществу Кирилла и Мефодия, к лицу, меня с ним познакомившему, и к лицам, о которых я впоследствии узнал, как об участниках этого общества; много листов своих старых заметок я просмотрел для составления настоящего рассказа, хотя Кирилло-Мефодиевское общество было таким решающим событием в моей жизни, что все его перипетии не могли не оставить неизгладимого следа в моей памяти.

Как видите, против всякого желания, несмотря на ужаснейшие вещи, которые я рассказывал на допросах в III отделении против деятелей этого общества, в лживости которых меня будто бы уличал сам граф Орлов, я по докладу того же графа Орлова был по высочайшему повелению определен в III отделение канцелярии государя, что почтенный ученый может прочитать на первой странице моего служебного аттестата. Если и допустить, что III отделение было такое учреждение, которое по характеру своей деятельности, как

сложилось об этом общественное мнение, и не требовало высоких нравственных качеств от лиц, в нем служивших, то все-таки оно не могло быть и местом служения заведомых и уличенных лжецов.— Покойный граф Алексей Федорович Орлов был человек истинно доброго сердца и рыцарской честности, он беспредельно был предан покойному государю Николаю Павловичу и веровал в истинность и величие его системы государственного управления; каким образом этот человек недюжинного ума был в то же время послушным орудием Л. В. Дуббельта, аномалия, трудно объяснимая, но которую часто мы встречаем на страницах истории.

Поступив на службу в III отделение, я пользовался не только его расположением, но даже любовью; нет сомнения, он жестоко ошибался в нравственном уровне служивших в III отделении, но он безусловно верил в высокую честность этих лиц, в безукоризненную нравственность их убеждений; особенных знаний и умственного развития не требовалось, а такое убеждение и личный характер покойного графа, повторяю, не давали ему возможности рекомендовать государю в чиновники его канцелярии заведомого и уличенного лжеца... В последствии времени, находясь уже на службе в III отделении, ознакомившись со всеми ее условиями, пользуясь любовью и расположением графа Орлова, а на первых порах и Л. В. Дуббельта, находясь постоянно в прекрасных отношениях с Мих. Макс. Поповым, который был *deus ex machina* всего направления и служебного строя, я часто интересовался делом Общества Кирилла и Мефодия, мне хотелось познакомиться со всем его следственным материалом, мне хотелось знать, что и в каком виде сообщал попечитель Траскин в III отделение, из Киева, как оно возникло, но Мих. Макс. Попов говорил мне только, что весь материал для возбуждения преследования был найден в бумагах Гулака при арестовании его в Петербурге, и дело это всегда оставалось для меня тайною, а между тем оно не окончилось только участью лиц, взятых в Киеве и на юге, оно, сколько мне известно, имело свой отголосок, и в Москве привело графа Орлова в столкновение с попечителем Московского университета графом Строгановым<sup>1</sup> и бывшим министром народного просвещения гра-

<sup>1</sup> Строганов граф Сергей Григорьевич (1794—1882) — был с 1835 по 1847 год попечителем Московского учебного округа.

фом Уваровым<sup>1</sup> и было одною из причин, заставивших его выйти в отставку<sup>2</sup>.

Больше я не имею права писать в ваш журнал, как в «Киевскую старину», но и еще прошу уступить несколько его страниц. Я не могу сказать, чтобы все счеты мои с почтенным ученым были покончены; в самом деле, уважаемый историк говорит, как сосланный на службу в Петрозаводск Белозерский был поручен особому вниманию местной администрации и как вскоре он был уже советником губернского правления, а это лицо не маловажное среди провинциального чиновничества, как поступили на службу Гулак, Кулиш, Навроцкий, как эти люди, а в том числе и он, теперь уже в чинах и выслужили полную пенсию; молчит только о Петрове и Андрусском, которые показывали о нем ужасные вещи в III отделении, впрочем об Андрусском замечает, что в последствии времени он отказался от своих показаний, следовательно, остался только один Петров с тою густою тенью несправедливых обвинений, которую талантливому историку угодно было наложить путем печати. Но если все вы, господа, пережив ваши испытания, теперь отдохаете в чинах и с пенсию, если испытания эти, дав вам опыт жизни, окружили вас ореолом известности столько же, если не больше, сколько дала вам ваша талантливость, то во сколько же раз должно быть выше вашего благополучия благополучие того чиновника, который, по мнению вашему, был виновником несчастий и так или иначе, а с точки зрения правительства оказал ему известную услугу; в каких чинах должен быть бы в настоящее время и размер какой пенсии должен был был обеспечить мое существование, а между тем судьба сыграла здесь злую шутку.

<sup>1</sup> Уваров граф Сергей Семенович (1786—1855) — министр просвещения и президент Академии наук.

<sup>2</sup> Это столкновение произошло действительно из-за Общества Кирилла и Мефодия: Уваров, как министр, пересыпал официальную бумагу о славянском движении Строганову, присоединил письмо, в котором предложил полуофициально осведомить всех лиц, занимающихся историей и литературой, с содержанием этой бумаги, не говоря о поводе, вызвавшем ее. Строганов ответил отказом, если ему не будут сообщены сведения о действиях и замыслах людей, «обративших на себя внимание правительства в деле славянства». Орлов объявил Строганову выговор от имени государя, который нашел ответ Строганова «в высшей степени неприличным и несоответствующим тем отношениям, в которых обязан находиться подчиненный к своему начальнику», но все же копии докладов с дела Общества Кирилла и Мефодия прислал. Строганов подал в отставку, которая и была принята (см. письма, напечатанные в «Русском архиве» 1882, кн. 2, стр. 334—359).

Позволяя себе продолжить несколько свой рассказ, я по необходимости целые десятки и сотни страниц своих старых заметок постараюсь свести к нескольким строчкам, хотя эта часть моего рассказа, думаю, далеко назидательнее первой.

Не долго однако же пришлось мне оставаться в тех хороших отношениях, при которых я поступил в III отделение...<sup>1</sup> Во всем отделении было всего только три лица с высшим образованием: Мих. Макс. Попов, я и Алекс/андр/ Алекс/андрович/ Галлер; из университета, впрочем, были только Попов и я, Галлер же вышел из Александровского лицея, но Попов поступил в III отделение, пройдя уже длинную школу жизни и чиновничьего поприща, я же был человек совершенно новый, еще с живыми и свежими впечатлениями недавно оставленной скамьи, правила, убеждения и нравственные принципы которой совершенно не укладывались с бюрократическими мировоззрениями; многое мне казалось не только странным, неестественным и положительно смешным, но при мрачном и таинственном характере службы, возмутительным и отталкивающим; жизнь же еще не успела выработать той необходимой сдержанности, того уживающегося противоречия между быть и казаться, которые только одни и могли обеспечивать и ручаться за успехи, поэтому непосредственные ежедневные явления выливались в той своеобразной форме, которая была ими вызываема. Сначала в этом бравировании существующей среды видели что-то забавное, возбуждавшее или смех, или улыбку сожалений, но по мере того, как шло время, этому начали придавать серьезный характер, во мне увидели человека из той строптивой среды, которая по принципу должна быть преследуема III отделением. Как же возможно было допустить самостоятельное существование среди того же III отделения; все это сначала повело к охлаждению, затем к разным начальным столкновениям, и наконец и к окончательному разрыву. Заметив возникновение подобных отношений, я увидел, что дальнейшее мое существование в III отделении представляется едва ли возможным, а поэтому заблаговременно начал подумывать об отступлении. Живя в Петербурге, не имея никакого определенного труда и назначения по службе, кроме обыденного казенного посещения III отделения, скучая канцелярскими нравами и занятиями, я начал приискивать себе труд, который более бы удовлетворял моим потребностям, на-

<sup>1</sup> Л. Дуббелт объясняет скверные отношения Петрова с окружающими тем, что сослуживцы сторонились Петрова как доносчика.

полнил бы огромное количество свободного времени; счастливый случай свел меня с кружком литераторов, художников и артистов, я пристроился к литературе сначала в скромной «Иллюстрации» Башуцкого<sup>1</sup>, затем начал работать у полковника Висковатого<sup>2</sup>, где и составлял для издававшегося в то время сборника «Александр I и его сподвижники» биографии многих генералов, переводил путешествие Адама Олеариуса<sup>3</sup>, поставлял в журналы переводы романов, и это, давая мне сравнительно довольно порядочные материальные средства, указывало, между прочим, и путь, как сделаться независимым от службы.

После одной из неприятностей, вызвавших даже хотя и шуточное, но все-таки внушительное замечание графа Орлова, я положительно убедился, что нахожусь не на своем месте, а потому, не долго думая, решился подать в отставку, но не предвидел одного обстоятельства, которое мешало мне оставить службу обыкновенным, естественным путем: я был определен по высочайшему повелению, следовательно, для выхода в отставку требовалось новое высочайшее повеление, а это само собою разумеется возбудило бы неприятные объяснения с графом Орловым и, вероятно, с самим государем, который, имея высокое понятие о преимуществах службы в его канцелярии, был бы удивлен желанием выйти в отставку такого лица, которое обратило на себя особое его внимание и расположение; поэтому поданное мною прошение об отставке возбудило только негодование Дуббельта; просьба была разорвана, и мне приказано было одуматься, а главное перемениться; после этого я уже окончательно перешел в разряд опальных и, хорошо зная характер Л[еонтия] В[асильевича], не сомневался, что участь моя рано или поздно будет решена и решена печально, лишь бы представился к этому удобный

<sup>1</sup> Башуцкий Александр Павлович (1805—1876) — издатель; с 1845 по 1848 год издавал «Иллюстрацию», в шестидесятых годах — «Журнал иностранной литературы».

<sup>2</sup> Висковатый Александр Васильевич (1804—1858) — военный историк и составитель «Исторического описания одежды и вооружения российского войска с древнего времени до 1855 года», «Хроники Российской императорской армии», «Краткой хроники полков и других частей русской армии» (всего более 50 томов с более чем тремя тысячами рисунков).

<sup>3</sup> Олеарий в тридцатых годах XII века с немецким посольством три раза проезжал по России и описал свое путешествие; это описание было несколько раз издано в XVII веке, русский же перевод напечатан в «Чтениях Московского общества истории и древностей российских» в 1869—1870 годах.

случай. А случай такой не заставил себя долго ждать. Несмотря на то, что в III отделении сосредотачивались все отрасли государственного управления и все возможные дела и вопросы от самых мелких и личных до обширных государственных могли быть взяты в III отделении и в нем получить окончательное разрешение по личному усмотрению людей, стоявших во главе этого учреждения, дела этого отделения велись страшно халатным образом, без всякой цели и системы, по большей части по вдохновению, под настроением минуты, и злоупотреблений было множество.

Л. В. Дуббельт, несмоля на все искусство и ловкость, с которыми он умел делать себя необходимым для разрешения всяких вопросов, был человек увлекавшийся и ставивший себя в крайне неловкое положение, из которого его спасало только заступничество громадного авторитета графа Орлова, пользовавшегося безграничным доверием покойного государя Николая Павловича.

Около времени, к которому относится настоящий мой рассказ, и в III отделении и в Петербурге настойчиво ходили слухи о каких-то важных злоупотреблениях, не совсем бескорыстного свойства по поводу развода графа Потоцкого<sup>1</sup> с его женой, и слухи эти дошли до сведения покойного государя... Леонт[ий] Вас[ильевич] часто возвращался от графа Орлова видимо не в духе, мрачный и раздраженный проходил в свой кабинет особым коридором, запирался в нем и почти не показывался в экспедициях, тут же разыгралось дело Политковского<sup>2</sup>, и было положительно доказано участие Леонтий Васильевича вочных увеселениях этого господина. Положение Дуббельта сделалось [настолько] шатким, что вся канцелярия начала поговаривать о выходе его в отставку. Нам всем давно были известны увлечения Леонтий Васильевича;

<sup>1</sup> Потоцкий Мечислав (после принятия православия — Михаил) — богатый помещик Подольской губернии; был сослан за буйный нрав и жестокое обращение с женой и сыном и стеснение их в средствах к жизни в Саратов, имение же его было взято в ведение Третьего отделения. Он, чтобы затруднить денежное положение жены в средствах, выдавал на себя разные обязательства с обеспечением на имение, надеясь получить разрешение вернуться из ссылки, но при Николае этого не произошло, и он был освобожден только при Александре II, когда и уехал за границу.

<sup>2</sup> Политковский Александр Гаврилович — тайный советник; директор канцелярии комитета, высочайше учрежденного 18 августа 1814 года, он растратил 1 100 000 рублей инвалидного капитала, живя роскошно и устраивая ночные оргии; когда же было назначено следствие по делу о растрате, он внезапно умер, говорят — отправился.

мы знали и его приятельские отношения к Политковскому, всем было известно, что, отправляясь на вечера Политковского, Леонт[ий] Вас[ильевич] приказывал принести себе из казенного сундука чистеньких бумажек, как он говорил; впрочем, сундук этот смешно было и называть казенным.

Не могу себе отказать в удовольствии вспомнить один из моих служебных эпизодов. В 1848 году в министерстве иностранных дел было окончено приведением в порядок замечательного архива этого министерства, и граф Нессельроде<sup>1</sup> пригласил государя осмотреть этот архив; государь посетил его в сопровождении графа Орлова, остался доволен найденным порядком и уехал, между прочим, спросив сопровождавшего Орлова: «А что, в каком виде у меня архив III отделения, ведь там есть важные дела и документы?». Не подозревая даже существования этого архива, граф Орлов дал какой-то уклончивый ответ, и, возвратясь домой, немедленно послал за Л. В. Дуббельтом. Вопрос государя он передал ему, но и Леонт[ий] Вас[ильевич] о существовании архива и о его порядке столько же знал, сколько и Орлов; возвратясь от графа, Дуббельт, не снимая ни фуражки, ни шинели, вошел в 1-ю экспедицию и с вопросом: «Где наш архив?— покажите мне его», в сопровождении старого писца, им заведывавшего, направился в подвальный этаж, где на полу грудами валялись связки замечательных дел и актов. Подвал этот ежегодно во время поднятия воды в Фонтанке заливался, поэтому можно себе представить, в каком виде находились архивные дела. Дуббельт пришел в ужас, немедленно был составлен доклад, отведена под помещение архива огромная зала в верхнем этаже аршин в 40 длины; месяца в 4 она украсилась великолепными шкафами красного дерева, тысячию картинок с золотыми гербами и надписями, командированы были из Военно-топографического депо художники чистописания для переписки составлявшихся алфавитов, за переплет каждого тома которых платилось по 25 р. с., одним словом, спустя полгода архив III отделения по наружному виду далеко перешеголял архив министерства иностранных дел; говорили, что это удовольствие обошлось тысяч в 80. В последнее время своей службы я был сдан в этот архив, т. е. командирован для приведения его в порядок, так как знал иностранные языки и умел читать старинные рукописи. В ар-

---

<sup>1</sup> Нессельроде Карл Васильевич (1780—1864) — министр иностранных дел с 1822 по 1856 год.

хиве этом хранится много замечательного исторического материала.

Была холодная, сырая, чисто петербургская осень 1849 года. Я простудился, лежал больной и несколько дней не посещал III отделение. Часов в 5 вечером какого именно дня — не помню, после обеда я лежал на диване в кабинете в халате, закутанный и завязанный; жил я в Шестилавочкой; в передней раздался нетерпеливый звонок; человек, в то время еще крепостной, побежал отворить; едва повернул ключ, как в передней раздался голос: «Дома чиновник Петров?». По голосу я узнал Леонта Вас. Дуббельта. Я вскочил и поспешил выйти. Не снимая ни фуражки, ни шинели, в галошах, в сопровождении двух жандармских офицеров, вошел в мой кабинет Леонт[ий] Вас[ильевич]. «Где твои ключи?» — спросил он поспешно; кстати они торчали в ящичке письменного стола; я указал; с поспешностью и нервным раздражением начали выдвигаться ящики и выниматься все мои бумаги; Дуббельт быстро их переворачивал, поднимая, встряхивая, снова бросал в сторону и принимался за другие; я стоял безмолвным свидетелем всей этой сцены, решительно не понимая, что бы все это могло значить; и, наконец, [после] около получасовой возни с моими бумагами и осмотра других комнат, Дуббельт снова вошел в кабинет и с видимым отчаянием, пожимая плечами, проговорил: «Ничего нет, решительно ничего нет; впрочем, бумаги необходимо еще лучше пересмотреть, возьмите их с собою», — сказал он, обращаясь к жандармским офицерам, его сопровождавшим; вытащили мои простыни и скатерти, все увязали, Дуббельт приказал мне одеться, мы сели в карету, и через несколько минут я был в III отделении в той же самой комнате, которую занимал три года тому назад. Поздно вечером, часов в 11 меня потребовали в кабинет Дуббельта, бумаги мои лежали грудою на столах, все чиновники были в сборе, и Леонт[ий] Вас[ильевич] при моем появлении обратился к ним с следующею речью: «Господа! я все пересмотрел, и у Петрова ничего не найдено, но вы знаете, какое это дело, я иду под топор и клянусь вам, что найду виновного». «Сегодня ты проведешь ночь здесь, — сказал он, обращаясь ко мне, — а завтра, надеюсь, ты будешь свободен». Но вот прошло и обещанное завтра, прошло и еще много дней, а ожидаемая свобода или по крайней мере разъяснение случившегося не наступало; окна моей комнаты выходили на внутренний двор, и я часто видел, как проходили через двор по направлению к кабинету Дуббельта мои

знакомые. В этом томительном ожидании, не зная что, за что и почему, прошло недели три, череп ломился от догадок, от мучительных размышлений; в передней постоянно торчал урочно сменявшийся жандарм, я совершенно одурел от мучительного одиночества и попросил дать мне какую-нибудь книгу; мне принесли несколько старых книжек «Москвитянина». Наконец, я был потребован вниз, меня провели в так называемую половину графа.

В той же комнате, в которой я был на очных ставках с Гуляком, я встретил трех лиц, сидевших за круглым столом, один был хорошо знаком, это старший чиновник особых поручений при графе Орлове, тайный советник *Сахтынский*, тонкий, седенький старичок, поляк, довольно большого роста с необыкновенно деликатными манерами, вечно улыбающийся и безмолвный, как могила; я думаю, что кроме таинственного шепота никто никогда не слышал его человеческой речи; второй был статс-секретарь князь *Голицын*, третий — молодой человек, тип административно-вылощенного бюрократа, но кто такой — мне и по настоящее время не известно. Князь Голицын, видимо, занимал место председателя; по обстановке и составу лиц я догадался, что дело должно быть не шуточное. При моем появлении после нескольких минут молчания, когда мы так сказать измеряли друг друга глазами, князь Голицын обратился, наконец, ко мне со следующими словами: «Вот видите, Петров, вам бы было всего лучше сейчас же при арестовании чистосердечно сознаться, сами бы вы не томились и нас не задерживали бы; нам в настоящую минуту все известно до мельчайших подробностей».— «В таком случае вашему сиятельству стоит только сказать, в чем я обвиняюсь, и если я действительно виноват, то откровенно и сознаюсь».— «Но тогда это не будет та откровенность, которую мы от вас ожидаем,— возразил Голицын.— Вы сами нам скажите, в чем чувствуете себя виновным».— «Так как совесть меня ни в чем не уличает, то сделать этого, само собою разумеется, я не могу»,— снова был мой ответ.— «Так вы, стало быть, не хотите сознаться, тем хуже для вас,— ну-с, теперь отвечайте на те вопросы, которые мы будем вам предлагать». Молодой человек, сидевший около меня, взялся за перо и пододвинул к себе бумаги, затем последовал бесконечный ряд вопросов, вроде следующих: не помните ли вы, где вы стояли на Невском проспекте полгода тому назад? не можете ли припомнить, с кем и о чем вы разговаривали месяца три тому назад? куда и зачем вы тогда-то и туда-то хо-

дили? как вообще проводили ваше время и пр. и пр. в том же роде, по всем правилам истязательного следствия, со всеми приемами, доводящими обвиняемого в конце допроса к тому, что он не знает, что он, где он и что с ним совершается; после этого допроса меня отпустили с сожалением, что я не сознаюсь.

Удалившись в свою комнату и оставшись наедине, размыкаясь, я пришел к убеждению, что против меня нет никаких улик, что случилось что-нибудь особенное, угрожающее большую опасностью Леонт. Вас. Дуббельту и что для спасения его просто ищут козла отпущения. Еще прошло три недели томительной неизвестности, меня снова потребовали в ту же комиссию, в составе ее прибавился протопресвитер Бажанов<sup>1</sup>, а на аналое лежали крест и евангелие, допросы начались тем же порядком, последовали те же и ответы. По них Голицын предложил Бажанову остьаться и переговорить со мною наедине. Взяв крест и развернув евангелие, уважаемый протоиерей начал приглашать меня сознаться и опять не объяснил, в чем меня обвиняют и не представляя никаких улик; это меня возмутило; выслушав его убеждения, я прямо попросил не профанировать священными предметами, что из всего хода дела видно, что против меня нет никаких доказательств, что здесь просто требуется найти жертву, на плечи которой можно было удобнее возложить ответственность за что-то совершившееся, и если считают, что подобною жертвою могу быть я, то тут и рассуждать нечего, да, как я по опыту знаю, и бесполезно. Этот ответ озадачил уважаемого священника; несколько подумав: «Вы может быть и правы, молодой человек,— сказал он мне:— и потому мучайтесь и да благословит вас бог». Мы расстались, через несколько минут снова вошли члены комиссии и после нескольких новых, ни к чему не ведущих, вопросов меня снова отпустили. Спустя недели две после этого допроса Сахтынский объявил мне, что государь император приказал заключить меня в крепость до тех пор, пока я не сознаюсь в том, в чем обвиняюсь; я возразил, что готов исполнить волю государя, лишь бы мне сказали, в чем меня обвиняют и в чем требуется мое сознание. Сахтынский сострадательно улыбнулся, пожал плечами, и через час я уже был по дороге в крепость.

Во всякой другой стране подобный рассказ был бы при-

<sup>1</sup> Бажанов Василий Борисович (1800—1883) — духовный писатель, член синода и главный священник гвардии.

знат чудовищным баснословием, но мои соотечественники и современники, как настоящего, так и пережитого прошлого, не усомнятся в вероятности и действительности моего свидетельства, они знают, как мало значат честь, доброе имя и самая жизнь перед неловким положением высокопоставленного лица, а дальнейшие события моей жизни убедят их в неопровергимой верности сообщаемых мною фактов.

И вот живой человек в гробу! Я был заключен в каземат Алексеевского равелина; квадратная комната аршин 8 во все стороны, наполовину в земле, никогда не просыпающаяся; в самые жаркие дни петербургского лета ее стены покрыты мохом и какими-то слизистыми отложениями, зимою же она украшается блестками инея; вечно угарная печь, неизменная параша, кровать, стол и стул деревянные, все же остальное камень, толстый, массивный, несокрушимый камень.

Через несколько дней моего заключения меня посетил комендант Набоков<sup>1</sup> и спросил, за что я заключен; я отвечал, что не знаю, что мне не только не предъявили никаких доказательств моей виновности, но даже не назвали предмета обвинения. «Вот как бывает,— заметил Набоков:— я разузнаю» и вышел; через несколько дней он снова меня посетил. «Что делать, любезный друг,— сказал он мне:— это несчастье, надо уметь его перенести, молись богу». И вот я жил и молился. Почтенный ученый просидел в крепости год, и год этот был ему хорошо известен; в последний его день он мог сказать: завтра я буду свободен; но как мог сообразить срок своего заключения я, когда он был определен требованием сознания в том, чего я не знал, не мог знать и лишен был возможности знать?— Следовательно, или одна только случайность могла указать действительного виновного в том, что совершилось, или срок этот должен был совпасть с концом моей жизни, но и в первом случае не лучше ли заживо погребсти ничтожного мелкого человека, чем потом неприятно тягаться с его разбитою жизнью. Далее переживая и передумывая свое прошлое из образа ведения дела об Обществе Кирилла и Мефодия, из отношений и поведения лиц, производивших следствие, что в деле этом по каким-то неизвестным для меня причинам и соображениям я выставлен доносчиком, следовательно, каково же должно было быть положение в обществе человека с клеймом политического доносчика, хотя бы

---

<sup>1</sup> Набоков Иван Александрович (1787—1852) — генерал от инфантерии, комендант Петропавловской крепости.

закон был и на моей стороне. Вследствие этого я решился не покидать каземата, когда спустя год и семь месяцев комендант Набоков, всегда принимавший во мне живейшее участие и по возможности облегчавший мою участь, однажды, зайдя ко мне, объявил, что подготавливается доклад о моем освобождении; я с твердостью просил его ходатайствовать перед государем об оставлении меня в заключении. Это заявление страшно поразило почтенного старика. «Ведь ты можешь здесь пропасть,— заметил он:— нет, ты близок к умопомешательству, тебе нужен свежий воздух». Я попросил его позволить мне написать докладную записку государю и представить ее на высочайшее усмотрение; он приказал сопровождавшему его адъютанту дать мне чернила и бумаги, в таком смысле я и написал покойному государю Николаю Павловичу свое прошение; я указывал на невозможность моего существования среди общества и просил, как милости, оставить меня в заключении. На другой день часов около 12 Набоков зашел ко мне в полной форме, очевидно, по дороге во дворец, я передал ему свою докладную записку; через несколько часов он зашел ко мне в той же форме. «Завтра ты отправляешься на службу в Олонецкую губернию,— сказал он мне:— ты молод и выслужишься». Действительно на другой день поздно вечером, когда во всем Петербурге зажглись уже огни, я в сопровождении жандарма направился по дороге в Петрозаводск. Перед отправлением от меня потребовали мертвого молчания о всем, со мною совершившемся в III отделении. И 35 лет я молчал, ходя какою-то темною личностью среди всего меня окружающего, и как верно было мое предчувствие. И вот я в ссылке! Прохожу молчанием свое восьмилетнее пребывание в Олонецкой губернии. Да, проходите мимо вы, девственные леса и пустыня севера, с вашею дивною природою, с вашими неисчерпаемыми богатствами, которые я исходил с посохом странника. Проходи мимо и ты, вечный труженик земли русской, обездоленный фаталист труда без отдыха, горя и бедности, с которыми я сжился в дымной твоей хате и охотничьей избушке и на промысловом становище. Идите мимо и вы, отшельники Выги и Лексы, истинные культурные самобытники, скрывшие свой практический ум, свое оригинальное мировоззрение, чистоту русской природы и светлость взгляда на жизнь в непроходимых дебрях севера, не место вам в отрывочных заметках погубленной жизни.

Первое время моего пребывания в Олонецкой губернии я

попал по обыкновению в штат губернского правления на 20 копеек положенного суточного существования, затем, когда познакомились с моими способностями и некоторым запасом знаний, я сделался попыхачем местной администрации; первая страница моего аттестата свидетельствует, что я прошел через все горнила и административных и судебных мытарств, а в аттестат мой не попало и десятой доли того, что мною исполнено. Спустя 4 года после моей чисто служебной деятельности, при назначении в Петрозаводск губернатором *Муравьева*<sup>1</sup>, в министерстве внутренних дел, вследствие каких-то причин, оживились статистические работы; само собою разумеется, что это движение отразилось и на губернской деятельности, начали появляться запросы о состоянии и положении той или другой отрасли народной жизни, для исполнения этих требований. Как на подходящего человека, Муравьеву указали на меня, и он поручил мне исследование этой части местной жизни; работы по исследованию мехового промысла г. Каргополя, льняной промышленности Пудожского уезда и исследования о нравах и образе жизни приозерных и приречных жителей обратили на себя внимание министерства; годовые всеподданнейшие отчеты по губернии государю, составление которых тоже было возложено на меня, получили большее содержание и смысл. Муравьев был скоро произведен в действительный статский советник и получил звезду Станислава. Желая вознаградить чем-либо и мои труды, он потребовал мой формуллярный список и вошел в Инспекторский департамент гражданского ведомства о производстве меня в следующие чины, которых я со времени поступления на службу не получал, а после переезда в Олонецкую губернию даже и забыл о существовании этого документа. Представление это однако возвратилось без всяких результатов. Инспекторский департамент гражданского ведомства в представлении к производству отказал на том основании, что в штрафной граffe хотя и было записано, что по высочайшему повелению я был заключен в крепость, но не было объяснено, по какому делу я подвергался суду и в чем заключаются мотивы судебного приговора; это было забавно; я упросил Муравьева для разрешения этого вопроса войти с представлением в III отделение. Муравьев так и поступил, сопровождая свое представление самым лестным отзывом о моей службе; на это скоро после-

---

<sup>1</sup> Муравьев Валериан Николаевич (1811—1869).

довал следующий не лишенный интереса ответ: «По докладе мною представления вашего превосходительства государю императору,— писал граф Орлов,— его величество приказал дать вам знать, что причина заключения чиновника Петрова известна только лично ему, государю императору, в формулярном списке объявлена быть не может, но это обстоятельство не должно служить препятствием к производству этого чиновника в следующие чины». С этим ответом III отделения мой формулярный список снова направился в Инспекторский департамент гражданского ведомства, и на меня посыпалась чины, ежегодно лишая значительной части жалования.

В 1857 году Муравьев был переведен губернатором в Псковскую губернию и, оставляя Петрозаводск, настоятельно потребовал, чтобы я перешел к нему на службу; многим ему обязанный, я не решился ему отказать, между тем и новый губернатор Олонецкой губернии Волков, познакомясь со мною, начал настаивать, чтобы я остался на службе при нем. Я попросился в отпуск на родину; по дороге около месяца прожил в Пскове в трудах по предварительному образованию в этой губернии статистических работ; приехав в Малороссию и проживя здесь некоторое время, я подал прошение о переводе меня на службу в Псков; Волков, раздосадованный на меня несогласием остаться на службе в Петрозаводске, уволил меня на основании знаменитого 4-го пункта вовсе от службы без объяснения причин. Поднялась борьба двух губернаторов, потребовавшая личного вмешательства министра Ланского<sup>1</sup>, правда, окончившаяся в мою пользу, так как я снова был принят на службу, но целый год от увольнения до нового определения был потерян, хотя я и работал уже в Псковской губернии.

Наступала великая эпоха преобразований, возбуждался вопрос об освобождении крестьян, правительство нуждалось в самых разнообразных статистических указаниях, и все эти работы по Псковской губернии были возложены на меня, в особенности же разработка вопроса по исследованию быта и экономического положения мелкопоместных владельцев. Наконец, в 1861 году расстроенный здоровьем, усталый жизнью, я решился оставить службу; открывалось обширное поле, как казалось, для общественной деятельности, где можно было найти работу более по душе и принести на служение обще-

<sup>1</sup> Ланской Сергей Степанович (1787—1862) — министр внутренних дел с 1855 года.

ству и запас своих знаний и своей опытности, но это была забавная иллюзия — крепостное право, питавшееся потом и кровью своей страны в течение столетий, было вовсе не такое начало, которое бы без борьбы сразу могло уступить свое место другому принципу; мы видим, что и теперь, потеряв свое жизненное начало, оно снова сумело заполнить всю землю русскую, правда, в другом виде и в других более безобразных формах, которые еще менее ручаются за его жизненность, но все с тою же сущностью, следовательно, человеку противоположного лагеря, с другими убеждениями, с совершенно другим взглядом на жизнь еще не скоро придется найти себе место в общественной деятельности, в особенности с моим темным прошедшим.

Неудавшаяся попытка общественной деятельности заставила меня в 1867 году снова попытать счастье на службе, но аттестат, с которым я толкнулся в различные двери петербургских министерств, заставлял всех с любопытством меня осматривать и сторониться, как темного и загадочного человека. Вследствие этого я в том же 1867 году через графа Петра Андреевича Шувалова<sup>1</sup>, который был начальником III отделения, подал покойному государю докладную записку, в которой в немногих словах рассказал свою прошлую жизнь и последнее событие, ее погубившее, я так и заключил: «Покорный воле провидения, я молил его только об укреплении моих сил для перенесения наложенных испытаний,— писал я государю: — никогда не предполагал возобновлять настоящего дела, тем более потому, что в прежнее время трудно было приискивать достаточно твердых оснований, которые бы ручались за его успех, не отяготив, может быть, еще более моей участии, но бедность, необходимость сыскывать себе средства существования и мысль, что я должен передать опозоренное имя своим детям, вынуждают меня обратиться к августейшему монарху с всеподданнейшей просьбою дозволить передать обстоятельства дела, служившие поводом к моему обвинению и заключению в крепость, во всем их объеме судебному рассмотрению. Факты и данные,— писал я далее,— служившие к этому обвинению, без всякого сомнения, сохранились в своей целости; значительный промежуток времени мог устраниТЬ только те причины, ту вынужденную необходимость, которые в то время безусловно требовались; кажущийся винов-

---

<sup>1</sup> Шувалов Петр Андреевич (1827—1889) — управляющий Третьим отделением, а с 1866 по 1874 год — шеф жандармов.

ный для удовлетворения встретившейся потребности был своевременно найден и невинно пострадавший, стоя вне всех законов, несет на себе всю тяжесть незаслуженного наказания, поддерживаемый только нравственною уверенностью в своей правоте...» Повергая свою участь вниманию государя, я заключал, что она очевидно тяжела уже потому, что о самом суде, на который каждый рассчитывает по праву, я должен умолять, как о милости. На это последовала следующая резолюция: «Требование невозможно. Повелеваю изгладить из аттестата Петрова все признаки нахождения его в крепости, а так как существует необъявленное Петрову распоряжение, воспрещающее ему пребывание в обеих столицах, то дозволить ему и это». Выслушав такой результат моего ходатайства, я был поражен; в самом деле — уничтожение прежней заметки в моем аттестате снимало только с правительства тень подозрения в чем-то недоволком, им дозволенном по отношению к чести и добруму имени честного человека, но никак не облегчало самого честного лица; прежде во мне могли видеть что-то оригинальное, что-то загадочное, теперь же всякий, прочитав первую страницу моего аттестата и видя блестательное движение по службе из чиновников III отделения канцелярии государя в писцы олонецкого уездного суда, разумеется, махнул на меня рукой, как на заурядного административного негодяя. Я решился объясниться по этому поводу с графом Шуваловым, но мне сказали, что Шувалов вместе с государем собирается ехать за границу, и посоветовали обратиться к Мезенцеву<sup>1</sup>. Мезенцев изъявил согласие доложить это обстоятельство государю, но, не будучи в состоянии жить более в Петербурге, я подал ему новую до-кладную записку и уехал домой. Спустя месяца 4 получил из стародубской почтовой конторы повестку на 300 р. с.; удивляясь, откуда бы могла быть такая благодать, я отправился на почту; поданный мне денежный конверт был за печатями III отделения; вскрыв его, я прочитал письмо Мезенцева, в котором он, обращаясь ко мне в самых любезных выражениях, извещает, что по докладу его государю императору его величество изволили приказать возместить мне мои расходы на поездку в Петербург, для чего мне и посыпается 300 р. с., и более ни слова.

Так безуспешно кончилась и эта моя попытка; на этом прерываю и я свой рассказ. Довольно! Я дошел до глухой

<sup>1</sup> Мезенцев Николай Владимирович (1827—1878) — шеф жандармов.

стены; энергия покидает меня в непосильной борьбе с выпавшими испытаниями, и нужно постараться только как-нибудь благовиднее окончить это жалкое существование.

Невольно приходит на мысль афоризм Гейне: «Бойся и беги милости сильных: они дадут тебе мало и возьмут все». О! если бы взяли все вместе с самою жизнью, тогда это были бы только тяжелые проценты ростовщика на ничтожную долю ссуженного капитала, но нет, они возьмут более чем все, они разобьют жизнь и оставят ей дыхание, коварно умолчав, когда оно прервется.

Уважаемый историк! Вы, как историк, вероятно, ведете и летопись вами пережитого и переживаемого, и при ней, само собою разумеется, необходимо есть и синодик; занесите же в этот синодик еще одною разбитою жизнью больше.

3 апреля 1883 года  
Стародуб.

